

Елена К. Тихая излучина



Елена К. Тихая излучина

<https://litres.ru/74519434>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если самые страшные тайны — не те, что прячут, а те, что слишком легко превращают в сенсацию?

Кораблёв, Пенькова и Вельд хотели просто сохранить историю: сухие протоколы, старые карты, обрывки воспоминаний — всё, что годами копилось в коробках и папках. Они не искали чудес. Но стоило одной статье выйти в печать, как тихая излучина реки Хопер превратилась в «аномальную зону», а бережно собранные факты — в топливо для теорий заговора и городских легенд.

Теперь героям предстоит, защищать память. От шума. От спекуляций. От желания превратить чужую боль и чужую осторожность в развлечение. И в этом новом противостоянии самым опасным врагом оказывается не мистическая граница места, а человеческое любопытство, которому всегда хочется большего. И о том, что иногда самое важное — просто не тревожить землю.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	12
Глава третья	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Елена К.

Тихая излучина

Глава первая

Матвей Кораблёв вошёл в «Уголёк» — задрипанную кафешку на Пятницкой, через дорогу от его конторы, — когда за окнами уже третий день стоял ноябрь. Не тот ноябрь, что бывает в стихах. Тот, что по-настоящему: серый, с мокрым снегом вперемишку с пылью, с небом цвета ношеного нательного белья.

— Чай, — сказал он. — И пирожок. С картошкой.

Девушка за стойкой посмотрела на него так, как смотрят на человека, который здесь каждый день и который никогда не закажет ничего, кроме чая и пирожка с картошкой.

— Три погрей, — сказала она, не спрашивая.

Дело в том, что идея её была верна: чайник у Кораблёва остывал слишком быстро, а пирожок он съедал, не замечая вкуса. Так он завтракал уже четвёртый месяц — с того дня, когда Ринат Латыпов сказал ему: «Слушай, у меня есть работа. Скучная. Человек пропал. Ни труп, ни крови, ни страховки. Скучайнейшая работа в мире. Ты возьмёшься?»

Скучные дела платили. Нескучные — не всегда.

Он взял пирожок, отхлебнул чай и посмотрел на папку,

лежащую на столе напротив. Папку принесли сегодня утром. Курьер. Вежливый, такой вежливый, что даже странно: курьеры, которых Кораблёв знал, плевали на вежливость. На папке не было ни адреса, ни отправителя — только тонкая резинка и запах дорогой бумаги. Внутри лежали два листа и конверт с деньгами. Наличными. Сто тысяч рублей.

Листов было два. Первый — письмо. Второй — фотография.

Письмо Кораблёв уже прочёл четыре раза. Читал и теперь, держа пирожок на весу, разглядывая строчки, будто они могли перемениться, если читать медленнее.

«Уважаемый господин Кораблёв. Мне рекомендовали вас как человека, умеющего находить тех, кто не хочет быть найденным. Я хотела бы обсудить с вами одно дело. Условия обсуждаются лично. Прилагаю фотографию человека, о котором идёт речь. Разговор состоится, только если вы согласитесь его взять. Н. Вельд.»

Фотография была хорошая. Не любительская — студийная. Мужчина лет сорока пяти, лысоватый, с лицом, которое стараются запомнить и не могут: невыразительное, мягкое, будто сделанное из пластилина, которому не дали застыть. И при этом — что-то в глазах. Что-то насмешливое и вместе с тем уязвлённое. Так смотрят люди, которые знают, что они умнее всех в комнате, и которых за это не любят.

Под фотографию была подпись: **Вадим Строгов. Писатель.**

Кораблёв отложил письмо. Вытер пальцы о джинсы. Вынул из нагрудного кармана куртки мобильник и набрал номер Рината.

— Ринат, — сказал он, когда тот ответил. — Кто такая Н. Вельд?

На том конце помолчали. Потом Ринат сказал с той особенной интонацией, с которой говорят, когда информация дорогая, а собеседник бедный:

— Ты взял её дело?

— Я ещё не брал. Я спрашиваю.

— Тогда не бери, — сказал Ринат. — Ни за какие деньги, Матвей. Ты слышишь меня?

— Слышу, — сказал Кораблёв и посмотрел на конверт. Сто тысяч. Наличными. Просто за то, что пришёл на разговор.

— Нина Вельд, — сказал Ринат. — Жена Дмитрия Вельда. Издатель. Который публикует Строгова.

— А-а, — сказал Кораблёв, хотя ничего не понял.

— Вот именно, — сказал Ринат. — «А-а». Умный парень, а говоришь как первокурсник. Приезжай в контору. Я тебе объясняю, пока ты не натворил.

Контора Кораблёва занимала второй этаж дома на Пятницкой — старого, с колоннами и облупившимся лепным потолком, который арендодатель, в силу какой-то странной прихоти, отказывался реставрировать. Наверх вела лестница с семнадцатью ступенями — Кораблёв знал их число, потому

что по вечерам, уходя, он считал их, как считают овец: чтобы уснуть, чтобы забыть о том, что внизу — кафешка «Уголёк», а наверху — пустая комната, стол, два стула, телефон и он сам.

Семнадцать ступеней наверх. Семнадцать вниз. Он пересчитал их в тот вечер, когда Ринат закончил свой рассказ, и понял, что уснуть не сможет.

Дмитрий Вельд был издателем старой школы. Небольшое издательство на тихой улице в центре Волгограда, четыре редактора, полсотни авторов, ни одного бестселлера за последние десять лет — и при этом репутация безупречная: издатель, который платит гонорары вовремя, что в литературном мире почти то же самое, что свинья, которая не копает. Вельд публиковал Строгова одиннадцать лет. Строгов писал романы, которых никто не читал, — умные, злые, странные романы о выдуманных городах, — и Вельд публиковал их, теребя деньги и репутацию (быть издателем Строгова считалось дурным тоном), и не отступал.

А потом, три недели назад, Вадим Строгов пропал.

Сначала это не было новостью. Строгов пропадал и раньше — уходил на несколько дней, возвращался с запахом перегара и новым романом. Жена — Нина Вельд, вторая жена Дмитрия, — звонила в милицию, милиция вежливо напоминала о восемнадцатилетнем Строгове и тридцатидневном ожидании, и всё сходило на нет.

Но на этот раз было иначе.

На этот раз, за неделю до исчезновения, Строгов разослал своим друзьям — по почте, бумажными письмами, что уже само по себе было выходкой — фрагменты рукописи нового романа. Романа, который, судя по фрагментам, был о литературном мире. О мире, в котором все узнавали себя. О мире, в котором кто-то, возможно, узнавал себя слишком хорошо.

В том числе — издатель Вельд.

В том числе — его жена.

В том числе — ещё человек пять, имена которых Кораблёв пока не знал.

И тогда — за два дня до исчезновения — Строгов позволил жене и сказал ей, находясь, как она вспоминала позже, в странном, торжественном состоянии:

— Я его дописал. Я его отправил всем. Теперь посмотрим, кто останется человеком.

И повесил трубку.

Нина Вельд пришла в контору на следующий день в одиннадцатую утра.

Кораблёв ожидал другого. Он ожидал женщину постарше, строже, с более дешёвой шубой — это вопрос привычки: жёны состоятельных людей в Волгограде делятся на два типа, и второй тип — с дешёвой шубой — встречается чаще. Но Нина Вельд вошла в бежевом пальто, которое Кораблёв узнал бы и в тёмной комнате: тщательно, дорого, без вычурности. Волосы подстрижены ровно. Руки — спокойные. Кольца —

дорогие, но мало. Единственным видимым признаком случившегося было то, что она держала сумку слишком крепко, как будто её могли отнять.

— Господин Кораблёв, — сказала она. — Спасибо, что согласились меня принять.

— Садитесь, — сказал Кораблёв. — Чай?

— Нет, спасибо.

Она села. Кораблёв сел напротив. Некоторое время они смотрели друг на друга, и это было не затянувшееся молчание, а правильное молчание: она изучала его, он изучал её.

— Мне сказали, что вы были военным следователем, — сказала она наконец. — В гарнизоне.

— Восемь лет, — сказал Кораблёв. — Потом частная практика.

— И часто бывают такие дела? Когда пропадают люди?

— Пропадают все, — сказал Кораблёв. — Разница в том, почему.

— А почему пропадает Вадим Строгов?

— Это я и собираюсь выяснить, — сказал Кораблёв. — Если вы скажете мне, где он был последний раз, что говорил и о ком.

Нина Вельд посмотрела на него. В её глазах было что-то такое, чего Кораблёв не ожидал: не страх и не горе, а некая собранность. Ожидание. Как будто она уже знала, что он скажет, и ждала, когда он это скажет.

— Он был жестокий человек, — сказала она. — Не же-

стокий в быту. Он был жестокий в тексте. Он писал о людях, которых знал, — писал так, что они не могли потом смотреть себе в лицо. Одиннадцать лет он писал и писал, и писал, и все, кто его знал, знали: однажды он напишет о них. И вот, кажется, дописал.

— И вы боитесь, — сказал Кораблёв, — не того, что он пропал. Вы боитесь того, что он вернётся.

Нина Вельд молчала долго. Потом подняла на него глаза, и в них — впервые — мелькнуло что-то человеческое, усталое, настоящее:

— Господин Кораблёв. Я боюсь, что он уже вернулся. Я боюсь того, что он вернётся не один. Я боюсь того, что, если он вернётся живым, я обязана буду это скрыть. А если он вернётся мёртвым — я обязана буду это скрыть сильнее. И в обоих случаях я не знаю, как.

Кораблёв откинулся на спинку стула. За окном шёл снег — третий день, всё тот же, серый, въедливый. По Пятницкой прошёл трамвай. Где-то внизу, в «Уголке», кто-то смеялся.

— Сто тысяч, — сказал он. — Это за что?

— За то, что вы найдёте его, — сказала Нина Вельд. — Или найдёте то, что от него осталось.

— Это, — сказал Кораблёв, — два разных дела. И, судя по всему, второе стоит дороже.

Нина Вельд не улыбнулась. Но что-то в её лице дрогнуло — и это дрогнувшее было правдой.

Так началось дело Строгова.

О том, чем оно закончилось, Кораблёв думал позже — в машине, на мосту, в комнате с обоями цвета болота, в мокрой камере, где лежал человек, которого он искал. Но всё это было впереди. Впереди были рукописи, фотокопии, звонки, обгоревшая куртка в овраге под Красноармейском, два редактора, отказавшиеся говорить, и один редактор, отказавшийся молчать; впереди была женщина, которая слишком хорошо знала, о чём пишет; впереди была ночь в конце ноября, когда Кораблёв понял, что дело Строгова не о писателе, который пропал, а о рукописи, которая написала бы кого угодно — любого, кого коснулась, — хуже, чем писала она.

Но это было впереди.

А пока он сидел в конторе на Пятницкой и смотрел, как Нина Вельд выходит в дверь, спускается по семнадцати ступеням — он слышал их, как слышат шаги по лестнице в пустом доме, — и не оборачивалась.

Глава вторая

Наутро Кораблёв начал с того, что всегда начинал: с карты.

Не с карты города — с карты человека. Строгов был картой, и на этой карте были отмечены шесть точек: издатель, жена издателя, редактор, критик, литературный агент, собутыльник. Шесть человек, которые знали Строгова хорошо. Шесть человек, которым Строгов отправил фрагменты рукописи. Шесть человек, у каждого из которых был свой фрагмент — свой кусок правды, или лжи, или того, что между ними и опаснее обоих.

Кораблёв выписал имена на лист бумаги. Письменный стол был старый, дубовый, с прожжённой столешницей — предыдущий арендатор курил, и не только табак. Лист лёг рядом с пустой кружкой и пепельницей, которую Кораблёв не использовал, но не выбрасывал: пепельница была единственной вещью в конторе, которая выглядела так, будто знала, зачем она здесь.

1. Дмитрий Вельд — издатель. 2. Нина Вельд — его жена. 3. Лариса Пенькова — редактор. 4. Олег Митинский — критик. 5. Зураб Церетели (однофамилец, не тот) — литературный агент. 6. Григорий Ремизов — собутыльник, бывший преподаватель филфака.

Шесть имён. Шесть фрагментов. Один пропавший писатель.

Кораблёв допил вчерашний чай, поморщился, надел куртку и вышел.

Издательство «Слово» помещалось в одноэтажном особняке на улице Чуйкова — из тех, что в Волгограде называют «барачными», хотя этот барак был чистенький, выбеленный, с кованой решёткой на окнах и табличкой медной, начищенной, словно кто-то каждое утро натирал её суконкой. Внутри пахло бумагой и пылью — запах, который Кораблёв узнал бы с закрытыми глазами: так пахло в любой советской библиотеке, в любом архиве, в любом месте, где бумага лежала дольше, чем живут люди.

За столом в приёмной сидела женщина лет пятидесяти, с короткой стрижкой и очками на цепочке. Она читала корректуру. Красный карандаш двигался по странице ровно, как метроном.

— Дмитрий Аркадьевич? — спросил Кораблёв.

— Дмитрий Аркадьевич на похоронах, — сказала женщина, не поднимая глаз. — У него мать в Дубовке. Похороны.

— А когда вернётся?

— Завтра. Может, послезавтра. А вы кто?

— Частный детектив.

Красный карандаш остановился. Женщина подняла глаза — поверх очков, и поверх цепочки, и поверх всего, что она за тридцать лет работы в издательстве наворотила между собой

и миром:

— Вы по Вадиму?

— По нему.

— Сядьте, — сказала она. — Я Лариса Пенькова. Я редактировала все его книги. Все до единой.

Она сняла очки. Лицо у неё было длинное, сухое, с морщинами, которые шли не от возраста, а от чтения — тридцать лет читать по восемь часов в день, и лицо складывается так, как складывается страница: по строкам.

— Вы тоже получили фрагмент? — спросил Кораблёв.

— Я получила, — сказала Пенькова. — Не фрагмент. Главу. Целую главу. Посвящённую мне.

Она помолчала. Потом достала из ящика стола листы — сложенные вчетверо, потёртые на сгибах, — и положила на стол, и пальцы её, кладя, чуть дрожали — не от страха, а от того, что она делала это не в первый раз и каждый раз ей было тошно.

— Читайте, — сказала она.

Кораблёв читал.

Строгов писал о редакторе — о женщине, которая «проживала чужие тексты, как своя утроба проживает чужое семя: принимала, вынашивала, рожала, и каждый раз — не своё». Писал о её руках, «вытянутых по странице, как пальцы пианиста по клавишам, с той же нежностью и той же бесильной точностью». Писал о её муже — муже, которого не было у Пеньковой, но который был у прототипа, и который

«уходил по вечерам, и уходил по утрам, и каждый раз — к другой, и каждая другая была моложе, и каждая моложе была глупее, и каждая глупее была счастливее, потому что глупость — это форма счастья, недоступная умным».

Потом — хуже. Строгов писал о ребёнке. О ребёнке, которого редактор «потеряла на седьмом месяце — не родила, не выкинула, а именно потеряла, как теряют ключи, как теряют мысль, и нашла потом в больничном коридоре, в руках у незнакомой медсестры, которая несла её, уже мёртвого, в прозрачный пакет, и пакет был холодный, и ребёнок в нём был мал, и мал был не по росту, а по праву на жизнь, и редактор подумала: вот, я не смогла даже родить, даже это я сделала плохо».

Кораблёв дочитал. Поднял глаза.

— У вас был ребёнок, — сказал он. Не спросил.

— Был, — сказала Пенькова. — Девочка. Семь месяцев. Двадцать три года назад.

— Строгов знал?

— Строгов знал всё. В этом его дар и его проклятие. Он слушал — так, как никто не слушает: не перебивая, не сочувствуя, не торопя. Он впитывал. А потом — потом он писал. И то, что вы держите в руках, — не клевета и не исповедь. Это — экспонат. Он сделал из меня экспонат.

— И вы не пошли в полицию?

— С каким заявлением? — Пенькова сняла очки и посмотрела на него, и в глазах её была не злость — усталость,

глубокая, как колодец. — Что он написал правду? Что он написал правду, которую я двадцать три года прятала от всех, включая себя? Строгов — не клеветник. В этом весь ужас. Он — демонстратор. Он вывешивает ваши внутренности на стену и говорит: смотрите, как они устроены. И вы не можете сказать «это не мои», потому что — ваши.

— А остальные фрагменты? — спросил Кораблёв. — Вы знаете, кому он отправил?

— Знаю, — сказала Пенькова. — Он мне сказал. Перед тем как исчезнуть — позвонил, поздно, пьяным или притворившимся пьяным, и перечислил: Вельду, мне, Митинскому, Церетели, Ремизову и — это последнее, запомните — Нине. Своей бывшей жене.

— Нина Вельд — бывшая жена Строгова?

— Была. До того как стала женой Вельда. Она ушла от Строгова к Вельду. К издателю Строгова. Представляете?

Кораблёв представил. Получалось красиво — в том смысле, в каком бывает красивой авария на мокрой дороге: всё происходит медленно, и всё видишь, и ничего не можешь.

— И Строгов написал об этом.

— Строгов написал обо всём. О ней — отдельную главу. Он сказал мне: «Лариса, я каждому дал его главу. Каждому — его. Вельду — про Вельда. Нине — про Нину. И когда они все их прочтут, они будут знать о друг друге то, что я знаю. И тогда — тогда будет интересно».

— Интересно, — повторил Кораблёв.

— Его слово, — сказала Пенькова. — Не моё.

Следующим был Олег Митинский — критик.

Кораблёв нашёл его в кафе «Аркада» на проспекте Ленина — глубинное заведение, прокуренное, с торшером, который не работал, и котом, который работал: сидел на подоконнике и следил за посетителями с той профессиональной неприязнью, с какой критики следят за дебютантами.

Митинский был под стать заведению: тёмный, мялся за столиком, курил одну за другой и пил чёрный кофе, хотя, судя по цвету лица, кофе был не первая жидкость, которую он сегодня употребил. Руки — тонкие, нервные, с одним перстнем: малахит, дешёвый, потрескавшийся.

— Я знаю, зачем вы пришли, — сказал он, не поднимая глаз. — Я ждал. Четырнадцать дней ждал, что кто-нибудь придёт. Милиция не пришла. Милиции плевать. Жена Строгова — то есть первая, настоящая — она приходила. Потом — издатель. Потом — вы.

— Что сказала первая жена?

— То же, что и я скажу. Что Вадим — сукин сын. Что он всегда был сукин сын. И что рукопись, которую он разослал, — не рукопись. Это — бомба. Растяжка. Он натянул её между шестью людьми и лёг посередине, и ждёт, кто первый наступит.

— Или кто первый перережет, — сказал Кораблёв.

Митинский поднял глаза. Посмотрел. Впервые — внимательно.

— Вы умнее, чем выглядите, — сказал он. — Это комплимент. В моей профессии — редкость.

— Покажите ваш фрагмент, — сказал Кораблёв.

Митинский достал из кармана пальто листы — мятые, с пятнами от кофе, — и протянул.

Строгов писал о критике — о человеке, который «не умел писать и потому научился судить, как судят те, кто не умеет: с любовью, с тщательностью, с жестокостью хирурга, который режет не потому, что хочет спасти, а потому, что любит резать». Писал о его статьях — «статьях, которые были не критикой, а аутопсией: каждый раз он вскрывал чужую книгу и находил в ней то, что хотел найти, и хотел найти всегда одно — подтверждение того, что книга хуже, чем кажется, потому что если книга хуже, чем кажется, то и критик лучше, чем есть». Писал о его жене — «жене, которая читала его статьи и не понимала, что каждая статья — это письмо, написанное не автору, а ей: посмотри, как я умею, посмотри, как я вижу, посмотри, как я хорош — на чужом фоне, на чужой спине, на чужом языке».

А потом — одна фраза. Одна, посередине страницы, как нож:

«И в этом — его жалость: он знает, что ничего не стоит, и потому судит других, и потому не прощает, и потому спит плохо, и потому пьёт, и потому каждое утро смотрит в зеркало и видит лицо, которое ничего не стоит, и каждое утро отворачивается».

Митинский сидел и смотрел в стол.

— Я не пью каждое утро, — сказал он. — Только после обеда.

— А фраза — правда? — спросил Кораблёв.

— Всякая правда, — сказал Митинский, — врёт по-своему. Но Строгов врёт точнее всех. Он знает, что фраза — правда, и пишет её, зная, что я знаю, что она — правда, и это двойное знание — его, моё и читателя — делает её невыносимой. Не текст. Знание.

Он затушил сигарету. Пальцы дрожали.

— Знаете, что самое страшное? — сказал он. — Я прочитал и подумал: вот, это — лучшее, что он написал. Лучшее за одиннадцать лет. Он написал обо мне — и написал лучше, чем писал о вымышленных городах. Он нашёл меня — и нашёл текст. И я не могу его ненавидеть, потому что он сделал из меня литературу, а литература — это единственное, чего я хотел. Только я думал, что это буду мои статьи. А это — его роман. Его. Обо мне.

— Вы хотите, чтобы он не вернулся? — спросил Кораблёв.

Митинский долго молчал. Кот на подоконнике зевнул.

— Я хочу, — сказал он наконец, — чтобы рукопись исчезла. Не Строгов — рукопись. Если Строгов вернётся — рукопись существует. Если Строгов умрёт — рукопись станет реликвией. Если рукопись исчезнет — Строгов станет просто пьяницей, который ушёл и не вернулся. И это — лучший

для всех вариантов. Включая Строгова.

— Включая Строгова, — повторил Кораблёв. Не спросил. Утвердил.

Зураб Церетели — литературный агент — жил в новом ЖК на набережной. Квартира на девятом этаже, лифт стеклянный, вид на Волгу. Церетели встретил Кораблёва в халате — шёлковом, с драконами, который выглядел дороже, чем вся одежда Кораблёва вместе взятая.

— Детектив? — сказал он, разглядывая Кораблёва с тем профессиональным интересом, с каким агент разглядывает автора, от которого не пахнет деньгами. — Проходите. Только быстро. У меня вебинар через полчаса.

— Вебинар, — повторил Кораблёв.

— Для начинающих авторов. «Как продать рукопись издателю». Три тысячи рублей с носа. Набор — сорок человек. Арифметику продолжите сами.

— Арифметика — не мой предмет, — сказал Кораблёв. — Мой предмет — Вадим Строгов.

Церетели изменился в лице. Не сильно — агент не меняется в лице сильно, это профессиональное, — но достаточно. Крылья носа побелели.

— Что с ним?

— Не знаю. Потому и пришёл.

Церетели помолчал. Потом сказал:

— Я покажу вам фрагмент. Но учтите: я показал его адвокату. Адвокат сказал — чистый состав. Клевета. Можно

подавать. Но я не подал. Знаете почему?

— Почему?

— Потому что Вадим — мой клиент. Был. Одиннадцать лет. Он приносил мне романы, которые я не мог продать, и я не мог продать их не потому, что они плохие, а потому, что они хорошие, а хорошие романы в этой стране не продаются. Продается МСQ* — так он говорил: «маленькие, средние и большие вопросы». Маленький — о ком. Средний — что. Большой — зачем. Строгов задавал большой. Большой не продаётся.

— Тем не менее, — сказал Кораблёв, — вы его представляли.

— Одиннадцать лет, — сказал Церетели. — И он платил. Не деньгами — платил тем, что каждый его роман поднимал мой рейтинг в тех кругах, где рейтинг важнее денег. Где знают, что быть агентом Строгова — значит иметь вкус. А вкус — дороже денег. Деньги кончаются. Вкус — остаётся.

— А теперь?

Церетели посмотрел в окно. Волга была серая, в мелкую рябь. На том берегу — пустырь, стройка, кран.

— А теперь, — сказал он, — я не знаю. Я получил главу. Я — в ней. Он написал обо мне как о человеке, который «продавал чужое, как мясо продают: на вес, с обвесом, с улыбкой». Он написал, что я «не читал романы, а взвешивал их — и выбрасывал те, что не дотягивали до коммерческого веса, и оставлял те, что дотягивали, и из тех, что дотягивали,

делал колбасу, и колбаса была съедобна и даже вкусна, и в этом — весь ужас: колбаса была вкусна, и никто не спрашивал, из чего она сделана».

— И это — правда?

Церетели повернулся к нему. Лицо у него было тёмное — не от загара, а от того, что он не спал, и не спал давно.

— Правда, — сказал он, — в том, что я продал тридцать четыре рукописи за одиннадцать лет. Ни одна не стала бестселлером. Ни одна не принесла автору больших денег. Но каждая — каждая — попала в печать. И это — моё. Моё. В стране, где издательства закрываются каждые два года, я продал тридцать четыре рукописи. И он это знает. И пишет об этом так, будто я — мясник. А я — кормилец.

— А про Строгова? — спросил Кораблёв. — Что он написал про себя?

— Про себя — ничего, — сказал Церетели. — Про себя — ни слова. В этом — его ход. Он — автор. Он — наблюдатель. Он вне. Он — бог, который написал о людях и удалился. И теперь ждёт, что люди сделают с его текстом.

— Удалился куда?

— Вот это, — сказал Церетели, — вопрос. На который я дал бы три тысячи рублей, чтобы узнать ответ. Бесплатно.

Последним в тот день был Григорий Ремизов — собутыльник, бывший преподаватель филфака Волгоградского университета.

Ремизов жил в хрущёвке на Тракторном заводе — райо-

не, который в Волгограде называют просто «Тракторный», и в этом названии есть вся правда: серые пятиэтажки, серое небо, серые люди, и между ними — серая пыль, которая в лето становится горячей, а в зиму — мокрой, и вечно.

Дверь открыл мужчина лет шестидесяти. Большой, мягкий, с бородой, в которой седина преобладала, но не побеждала. В руках — кружка с надписью «Лучший учитель 2007». Кружка была с чаем, не с водкой, и это было обнадеживающе.

— Вы — по Вадиму? — спросил Ремизов.

— Откуда вы знаете?

— Потому что за последние две недели ко мне приходили: первая жена, издатель, редактор Пенькова, агент Церетели и участковый. Участковый был самым вежливым. Вы — шестой. Шестой — детектив. Логично. Проходите.

Квартира была — как квартиры преподавателей: книги везде. На полках, на столе, на полу, на подоконнике, на стуле, на котором Кораблёв, по приглашению хозяина, сел, предварительно убрав три тома. Тома были Хоружий — «О старом и новом». Кораблёв отложил их на пол.

— Покажете фрагмент? — спросил он.

— Покажу. Но сперва — скажу. Строгов был мой ученик. Двадцать лет назад. Потом — собутыльник. Потом — предатель. Потом — снова собутыльник. Это — нормально. Это — литература. В литературе все друг другу — ученики, собутыльники и предатели.

Он достал листы. Положил на стол, поверх книг.

— Читайте. Только — осторожно. Строгов писал так, что после чтения хочется умыться. Не потому, что грязно. Потому что — обнажённо.

Строгов писал о Ремизове — учителе, который «учил понимать текст, как понимают зверя: по следу, по запаху, по тому, как дышит, и учил так, что ученики переставали понимать что-либо другое, и выходили из университета с умением читать — и с неумением жить». Писал о его жене, «жене, которая ушла не к другому — другая ушла бы к другому, а она — к пустоте, к молчанию, к тишине без текста, потому что в тексте, в котором она прожила двадцать лет, не осталось места для неё, всё место занимали чужие смыслы». Писал о его выпивке, «выпивке, которая была не пороком, а профессиональным инструментом: он пил, чтобы не чувствовать — не боль, нет, а то, что больше боли, — присутствие, когда ты присутствуешь слишком сильно, когда каждый текст входит в тебя целиком, и ты не можешь его выплюнуть, и он переваривается внутри, и ты становишься — не собой, а библиотекой, библиотекой, в которой некому сидеть».

Ремизов сидел и слушал, как Кораблёв читает. Сидел и кивал — медленно, печально, как кивают, когда слышат диагноз, который давно знали.

— Вот, — сказал он. — Вот он — я. Библиотека, в которой некому сидеть. Это — точно. Это — больше, чем точ-

но. Это — так точно, что хочется попросить его убрать. Но нельзя. Нельзя попросить писателя убрать точное. Точное — его единственный материал.

— Он пишет, что жена ушла к тишине, — сказал Кораблёв. — Куда она ушла на самом деле?

— На улицу Невельской, — сказал Ремизов. — К Озерову. Виктор Озеров — доцент с кафедры лингвистики. Тихий. Молчаливый. Он — действительно тишина. Строгов — прав. Он всегда прав. В этом его ужас.

— И вы — после этого — продолжали с ним пить?

— А что делать? — сказал Ремизов. — Он написал правду о моей жене. Он написал правду обо мне. Он написал правду о всех. Что — бить его за правду? За то, что он видел? Нет. Пить с ним — да. Потому что он — единственный, кто видел. И видеть — больно. И пить — с тем, кто видит, — легче, чем пить одному.

— А теперь он пропал, — сказал Кораблёв. — И вы — что?

Ремизов отпил чай. Поставил кружку. «Лучший учитель 2007» — блестела на свету.

— Теперь, — сказал он, — я боюсь. Не того, что он мёртв. Того, что он — жив. И того, что рукопись — цела. И того, что однажды — завтра, через год, через десять — кто-нибудь её опубликует. И тогда — тогда — все увидят. Все. Не шестеро. Все. И я стану — не собой, а персонажем. Персонажем в чужом романе. И это, господин Кораблёв, — смерть. Не фи-

зическая. Хуже. Текстовая.

Кораблёв вышел от Ремизова в девять вечера. Шёл пешком — от Тракторного до центра, через мост, мимо набережной, мимо статуи на Мамаевом кургане, которая в темноте казалась не статуей, а живой — огромной, тёмной, дышащей. Снег шёл. Волга внизу была чёрная. Где-то на той стороне горел одинокий фонарь.

Шесть человек. Шесть фрагментов. Шесть правд, каждая из которых была хуже лжи.

И между ними — Строгов. Писатель, который написал о всех, кто его окружал, — написал так, что каждый узнал себя и не смог отвернуться. Писатель, который разослал эти фрагменты, позвонил и сказал: «Теперь посмотрим, кто останется человеком». И исчез.

Кораблёв остановился на мосту. Волга текла — медленно, тяжело, как течёт всё в этом городе. Ветер был холодный, с реки, и бил в лицо, и Кораблёв стоял и думал.

Шесть человек. У каждого — мотив. Вельд — издатель, которого жена бросила ради автора, а потом — возможно — вернулась, или не вернулась, или вернулась иначе. Нина — жена, которая ушла от автора к издателю и теперь хочет найти автора — или хочет убедиться, что он не вернётся. Пенькова — редактор, чьё горе выставлено на стене. Митинский — критик, чья пустота названа по имени. Церетели — агент, чья работа названа колбасой. Ремизов — учитель, чья жена и чьё одиночество — на бумаге, и бумага более вечная, чем

человек.

Шесть мотивов. Один пропавший.

И рукопись. Рукопись, которая — если она существует целиком — может уничтожить шестерых. И которую — если она существует — кто-то из шестерых очень хочет уничтожить.

Кораблёв достал телефон. Набрал Нину Вельд.

— Это Кораблёв, — сказал он. — Мне нужна полная рукопись. Не фрагменты. Вся.

Молчание. Потом — голос Нины, ровный, как река:

— У меня нет полной. У меня — только мой фрагмент. Полная — у Вадима. Или была.

— Или у того, кто его убрал.

— Господин Кораблёв, — сказала Нина, — вы говорите громкие слова.

— Я говорю тихие слова, — сказал Кораблёв. — Громко.

Он повесил трубку. Постоял на мосту ещё минуту. Потом зашагал домой — семнадцать ступеней вверх, чай, стол, лист с шестью именами.

Шесть имён. Шесть правд. Одна ночь, чтобы решить, с чего начать завтра.

Он начал с того, что зачеркнул одно имя. Потом — другое. Потом — третье. Потом остановился.

Нельзя зачёркивать людей, которых ещё не знаешь. Это — первое правило частного детектива, которое Кораблёв придумал сам и которому следовал всегда.

До этого дела.

Глава третья

Вельд вернулся из Дубовки на день позже, чем обещала Пенькова. Кораблёв узнал об этом от неё же — она позвонила утром, коротко, без предисловий, как звонят люди, у которых осталась одна нить и они боятся её оборвать:

— Он приехал. Вчера вечером. И — господин Кораблёв — он не зашёл в издательство. Ни вчера, ни сегодня. Сорок лет работы — и не зашёл.

— Куда же он зашёл?

— Это ваш предмет, — сказала Пенькова. — Не мой.

И положила трубку — прежде, чем Кораблёв успел спросить, зачем она вообще звонит. Он подумал об этом минуту и понял: затем, что Пенькова боялась. Не за себя. За Вельда. Эти тридцать лет, судя по всему, она боялась за него всех — кроме самого Вельда, который бояться не умел в принципе, потому что человек, сорок лет теряющий деньги на умных книгах, либо не боится ничего, либо боится так давно, что страх стал фоном, как шум радиатора.

Кораблёв поехал в Дубовку.

Дубовка лежала в семидесяти километрах к северу, по той стороне Волги, где берег уже не волгоградский — волжский вообще, речной, степной. Дорога шла вдоль реки, и река была серой, и степь была серой, и только изредка в сером вспыхивало что-то живое: стая птиц, брошенный силос, красная

полоса покосившегося шлагбаума.

Вельд жил не в Дубовке — в пяти километрах от неё, у балки, в старом отцовском доме. Дом был кирпичный, дореволюционный ещё, толстостенный, с глинобитным двором и акацией во дворе — огромной, старой, такой, какой акации не растут в городе: городские акации помоложе и нервнее.

«Уазик» Вельда — потрёпанный, с треснувшим стеклом и ржавым багажником на крыше — стоял у калитки. За калиткой, на завалинке, сидел человек, которого Кораблёв сразу узнал бы из тысячи: Дмитрий Аркадьевич Вельд, издатель. Семьдесят два года. Лысый, тяжёлый, в старом ватнике, с лицом из тех, что не выражают ничего не потому, что пусты, а потому, что всё, что было в них, ушло внутрь лет тридцать назад.

— Вы, — сказал Вельд, не вставая. — Детектив. Кораблёв.

— Вы меня знаете?

— Нина сказала. — Вельд смотрел куда-то мимо него, в балку. — Она звонила. Сказала: пошлю человека. Сказала: не бойтесь, он не из тех, кто будет задавать вопросы, на которые вы не ответите.

— А вы ответите?

— Посмотрим, — сказал Вельд. — Садитесь. Тут у меня скамейка. Скамейка старая, но держит.

Кораблёв сел. Скамейка держала.

Некоторое время они молчали. В балке что-то шуршало — ветер в сухой траве, или хорёк, или больше ничего. Вельд

достал из кармана ватника расчёску и расчёсывал редкие волосы — медленно, обстоятельно, как делают люди, у которых осталось одно утреннее действие, и они намерены совершать его со всей полнотой.

— Похорон не было, — сказал Вельд наконец.

— Я догадался, — сказал Кораблёв. — Мать умерла?

— Мать умерла четыре года назад. — Вельд положил расчёску. — Я приезжал на кладбище. Это не одно и то же, но в моём возрасте почти одно и то же.

— Тогда зачем вы ездили?

Вельд посмотрел на него — впервые в лицо, и в глазах у него было то, чего Кораблёв не видел ни у кого из шестерых: не страх, не вина, не собранность. Усталость. Простая, честная, выработанная усталость человека, который семьдесят два года носит себя и который устал носить.

— Я ездил искать рукопись, — сказал Вельд.

Он рассказал — медленно, с долгими паузами, в паузах расчёсывая волосы, хотя расчёсывать было нечего, — и рассказ его был не исповедью, а инвентаризацией. Так отчитывается человек перед самим собой: не оправдываясь и не обвиняя, а перечисляя.

— Строгов принёс мне рукопись одиннадцать лет назад. Первую. «Депо». Я прочитал — и я знал, что она не продается. Знал точно, как знают издатели: не сердцем, а кошельком. И я её взял. Вы спросите — зачем?

— Зачем?

— Потому что за тридцать лет до этого мне её никто не взял. — Вельд усмехнулся — одними губами. — Я был молодой писатель. Плохой. Был. Но у меня был роман — один, единственный, про депо, про отца моего, который тридцать лет работал в депо. И я носил его по редакциям, и мне везде отказывали, и отказывали вежливо, а одна редакция — не вежливо. И я поклялся себе: если когда-нибудь у меня будет издательство, я возьму того, кого никто не берёт. Чтобы никто, ни один молодой плохой писатель, не вынес из редакции того, что вынес я.

— И вы взяли Строгова.

— Я взял его на одиннадцать лет. За одиннадцать лет я потерял на нём — считая гонорары, редактуру, корректуру, бумагу — сумму, равную стоимости вот этого дома. Может, двух. И я не жалею ни рубля, потому что за одиннадцать лет я не напечатал ни одного хуже Строгова. Но это не главное. Главное — вот что.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.